МЕМУАРЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

История правителей почти всегда находится за завесой тайны, что рождает множество мифов, преувеличений и разоблачений. Царствование Екатерины II составило целую эпоху, и главную ее тайну следует искать в личности самой императрицы. Ее мемуары позволяют составить портрет самой знаменитой коронованной женщины в российской истории.

- Мемуары императрицы Екатерины II
  - Часть I
- notes
  - 1

Мемуары императрицы Екатерины II

Часть I

Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

качества и характер будут большей посылкой;
поведение – меньшей;
счастье или несчастье – заключением.
Вот два разительных примера:
Екатерина II,
Петр III.

* * *

Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный (смотри «Дневник» Бергхольца в «Магазине» Бюшинга). Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекского, герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы.

Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое – Адлерфельдт, автор «Истории Карла

XII», и Вахтмейстер – были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, – голштинцы. Этого принца воспитывали в виду Шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли.

С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданны принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более – его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа, вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.

Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно – великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое.

Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.

Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.

Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата, с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.)

Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и Русским Великим Князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом Архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания.

Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и

праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью, он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать – по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, – что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского, для русского языка – он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого – профессора Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланге, балетмейстер, учивший его танцам.

В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней.

Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции,

пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского; маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, – матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на Русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги; у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана.

К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь Кабинета императрицы, служивший раньше в Кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил.

Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему.

Екатерина II в возрасте 16 лет

Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие;

помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.

Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.

На десятый день после моего приезда в Москву как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русского языка, и Ланге, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.

На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа: послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое.

Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль.

Наконец, в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого

монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала.

Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.

Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул, благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.

Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора.

Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе.

Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в

глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей.

Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы.

Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом: я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться.

С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас; он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас; в числе их был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане.

В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью; в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая.

Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток; проходя, он подошел к великому князю и ко мне – а мы смеялись – и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец»; потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это; он ответил: «Об

этом после узнаете», и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал; первый рассуждал вслух, я – про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы не виновны», я ему ответила: «Долг мой – следовать за матерью и делать то, что она прикажет».

Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья; что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец, дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла.

Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.

Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана *en Moyse*; я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться; когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался.

Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии и следующий день, Петров день, – для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер

обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя; но я сказала ему, что это для меня невозможно и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные.

В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости.

В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной Русской великой княжне, и тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день: мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери – в одной карете; великий князь, Брюммер, Бергхольц и Дукер – в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной; с тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышев; взяли одну из повозок с нашими постелями; приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышев и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней, и, таким образом, мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки; но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обер-гофмаршалу Брюммеру, обер-камергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и, между тем как мы смеялись дорогой, они бранились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа.

Наконец, в половине августа, она прибыла в Козелец; мы еще

оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в фараон в большой зале, посередине дома; в остальных помещениях всем приходилось очень тесно: мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери – в передней, и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он, действительно, стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения; зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней, и, не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней; тем не менее я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете.

Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить; я замолчала и заплакала; великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и, так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка; одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. С тех пор великий князь невзлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия, и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее.

Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и, действительно, великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там десять дней, после чего отправились назад в Москву точно таким же

образом, как ехали в Киев.

Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы: моя мать, я и великий князь – были в театре в ложе напротив ложи Ее Императорского Величества, я заметила, что императрица говорит с графом Лестоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Лесток ее оставил и пришел к нам в ложу; он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?» Я сказала, что да. «Ну вот, – сказал Лесток, – она очень на вас сердита». – «На меня! За что же?» – был мой ответ. «Потому что у вас, – отвечал он мне, – много долгов; она говорит, что это бездонная бочка и что, когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит». Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, затем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел.

Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбранили. Это был довольно обычный его прием, и в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась. Что касается матери, то, когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашиваясь ее, она умывает руки в этом деле; итак, оба они стали против меня. Я же тотчас решила привести мои дела в порядок и на следующий же день потребовала счета. Из них я увидела, что должна семнадцать тысяч рублей; перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне пятнадцать тысяч рублей и большой сундук простых материй, но я должна была одеваться богато.

В итоге оказалось, что я должна всего две тысячи; это мне показалось невесть какой суммой. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало три-четыре платья, это уже был предел возможного, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день; дюжина рубашек составляла все мое белье; я пользовалась простынями матери. Во-вторых, мне сказали, что в

России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами; ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь затем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарков; дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала.

Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла пред ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще, я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало; у нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка, во время поездки в Киев, тоже сделала свое дело: все старики были из нее изгнаны, вся молодежь – допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному; всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее.

В сущности вся эта досада матери пошла оттого, что не взяли с собой во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюммер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы. В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь; так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях: мать и я – в одних, великий князь и граф Брюммер – в других. 18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день.

Приехав на полпути в Хотиловский Яр, вечером, в моей комнате, великий князь почувствовал себя плохо; его отвели к себе и уложили; ночью у него был сильный жар.

На следующий день, в полдень, мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше; я хотела узнать почему; он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хотилове; графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге.

В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хотилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру.

Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и, когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышев, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышевым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих, но так как, благодаря этой досаде, было скучно до тошноты и выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери.

Наконец мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери – направо; как только мать увидела это устройство, она рассердилась: во-первых, потому, что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее; во-вторых, потому, что ее комнаты отделялись от моих общей

залой; на самом же деле у каждой из нас было по четыре комнаты: две на улицу, две во двор дома; таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубою и красною материей, безо всякой разницы; но вот что еще больше способствовало ее гневу.

Графиня Румянцева, еще в Москве, принесла мне план этого дома, по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуясь со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне; она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете; я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и, вообще, я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней три-четыре раза в день, остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги, так что в пятнадцать лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста.

К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.

Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне

сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.

Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.

В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем: все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен.

9 февраля минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 г. императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел семнадцатый год. Она

обедала одна со мной на троне; великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя; не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа.

Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово, доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала) и что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезни; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения.

Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате; это тот самый, который скульптор Фальконет увез с собою во Францию; я была на нем совсем живая.

Императрица Елизавета Петровна

Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением; вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты; наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание

приехать в Россию; мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель: получить при совершеннолетии великого князя, которое хотели ускорить, управление Голштинией; иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего Шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Голштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и Шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной Шведскому наследному принцу голштинской партией, в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над датским наследным принцем, которого далекарлийцы хотели избрать наследником Шведского престола.

Мать ответила принцу Августу, ее брату, из Козельца, что, вместо того чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под «врагами» мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюммеру и всем остальным друзьям Шведского наследного принца, опекуна великого князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против Шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры Прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, – выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать, в глазах друзей, хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей голштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Голштинского приехать в Петербург.

Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду; впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не

располагала к нему: он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость – раз уже пошло на чистоту – ее брата очень сердила мать; словом, она была почти в отчаянии от его приезда.

Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюммера, как и он; принц Август тоже его не любил, потому что он был предан Шведскому принцу. Под предлогом родства и как голштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Голштинии и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома; но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I.

Так как принц Август был еще довольно плохо принят моею матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней; с другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своею женою; Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и что, если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и, когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит, а потому Его Императорское Высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, безо всяких для себя последствий; это мне долго удавалось.

Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в

недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.

Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор; немного времени спустя после ее приезда в Петербург она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка; этим я была очень довольна, все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около двадцати лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером, после ужина, я впускала к себе своих трех фрейлин: двух княжон Гагариных и девицу Кошелеву, – и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры.

Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своею надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами: я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость; кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность.

Я отдала ключи от моих брильянтов Марии Петровне Жуковой; эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову; кружева – девице Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина; младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не испрашивая совета ни единой души, вечером было

представление; чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери.

Императрица, великий князь и весь двор пришли туда; в манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курляндского, покои которого я занимала, был устроен маленький театр. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих брильянтов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк – торжествующею от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо.

На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду Поста он не придет в этот день ко мне.

Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания Поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, – потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, – стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа.

В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу, как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.

Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили заутреню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке; я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею; она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, ни того даже, что это ей было нужно; однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой.

Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покои матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость; в отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску.

Потом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было года три-четыре. Она этим была очень опечалена, я тоже ее оплакивала.

Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с нею в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах, вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие.

Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем Прусским и Австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников; императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против Австрийского дома

и против Франции, к которой тяготел Прусский король, и если маркиз Ботта, посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де ла Шетарди был изгнан на тех же основаниях. Не знаю цели этого разговора; но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная; она вовсе не склонялась тогда на сторону Австрийского дома; что меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом; она получила на это для меня разрешение императрицы; к концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой; доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой.

Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой, в казармах Измайловского полка; я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец; нам с матерью отвели для житья каменное строение, находившееся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшее к дому Петра I. Мать жила в одной стороне этого здания, я – в другой. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима; мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно; но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день; в душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом; я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я больше чем когда-либо старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна – будущая Екатерина II в 16 лет

После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Императрица и великий князь жили наверху в доме, который выстроил Петр I; мы с матерью – внизу, под комнатами великого князя; мы обедали с ним каждый день под парусным навесом на открытой галерее, прилегающей к его комнате; он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам.

Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет; свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только на публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским.

Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей которой туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить; нас было восьмеро, мой камердинер – девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами; мы прогуляли до полуночи самым невинным образом; когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и, когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно и она очень устала дожидаться меня, то она легла; я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня; она уверяла, что не нашла бы нас, но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побранить; я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели; я хотела подойти, чтоб поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бранить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения.

Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и, не знаю, чего только она не выдумывала, чтобы огорчить меня, – вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам; но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покои великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась

вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах; в час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх, в покои великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло; он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках; я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась.

Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей.

Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камер-фрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камер-фрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить или же я была на выходах.

На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы не каждый день видела, но которая очень смягчилась по отношению ко мне в это время.

К концу сентября она уехала, мы с великим князем

проводили ее до Красного Села; ее отъездом я очень искренне огорчилась, я много плакала; когда она уехала, мы вернулись в город. Возвратившись в Летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову; мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала; на следующий день утром: тот же вопрос с моей стороны – тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большою пышностью из летнего жилища в зимнее; мы последовали за ней в ее покои. Прибыв в свою парадную опочивальную, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери; казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии человек тридцати, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой.

По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от дворца единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины; ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна; мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорные россказни Шенк, у которой даже не было здравого смысла; эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастии, коего единственная причина – моя привязанность к ней. Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки; а между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтоб остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной; с другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто: эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила, как я только что рассказала.

Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянника в пользу того, что только что было сделано; я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна

исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее. Насколько это будет, по крайней мере, от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву; я приказала послать ей то, что я ей назначила, через ее брата, сержанта гвардии; пришли мне сказать, что этот человек с женою получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков.

В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значило зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода. Но дело на этом не стало: через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию; мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травин; он поехал в Москву, чтоб на ней жениться, если ей понравится; она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку; как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основания.

В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы; покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы; чтобы идти к нему, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он, и я делали этот путь много раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в передней с обер-камергером Бергхольцем, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали весь двор и весь город.

Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом; середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа; в одном танцевали, но, чтобы идти ужинать, нас заставили пройти, в январе месяце, через двор по снегу; после ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог

встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка; его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили.

Ему было очень худо; ему не раз пускали кровь; императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, вошла ко мне госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала: вечерние молитвы; она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт.

После этого я попросила ее поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно; она пошла передать императрице мое поручение, а я – ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила.

В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я была тут, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила; впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы.

Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не

было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась первую неделю Великого поста; императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю; я велела ответить Ее Императорскому Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь Пост.

Гофмаршал императрицы Сиверс, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает.

Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня бранить; я сказала ему, что не могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю Поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете.

В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал еще больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он нам не сказал, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так

спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, – для удобства зрителей, как он говорил.

Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня так испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил, по крайней мере, двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе.

До воскресенья мы не слышали никаких разговоров, но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне позже обыкновенного; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его

наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить.

Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось; когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и, хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами.

Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном, наполовину смущенным, наполовину насмешливым: «Она была, точно фурия, и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате.

Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня, как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому молчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит; вы должны были бы сказать ей оба: “Виноваты, матушка”, и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом ее Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова: «виноваты, матушка», как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше.

Цесаревич Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. 1740-е гг.

За несколько времени перед тем, как императрица отставила графа Брюммера и обер-камергера Бергхольца от занимаемых ими при великом князе должностей, однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мною и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборную императрицы, так как мать моя, перед отъездом, добыла на то для меня разрешение – преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне

надоедало; я ходила туда раз или два, заставала там женщин императрицы, которые мало-помалу удалялись, так что я оставалась одна; я ему сказала это; он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать.

По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца; это могло служить для его целей, но ни к чему не могло послужить мне, если бы я торчала в уборной императрицы, да еще была бы ей в тягость. Я высказала графу Брюммеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно. Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда Крузе там не было. Я открыла в ней нынешней зимою очень определенную слабость к вину, и так как она вскоре выдала свою дочь за гофмаршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее напаивать, затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса.

Так как граф Брюммер и обер-камергер Бергхольц были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала Василия Репнина. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также очень умный и благородный, с душой чистой и искренней. Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина; что касается графа Брюммера, то я о нем не очень-то жалела; он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Репнина внушал мне доверие.

Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел; однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия Его Императорского Высочества производились в его Голштинском герцогстве; принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкарауливал управление наследственным владением великого князя.

В мае месяце мы перешли в Летний дворец; в конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чоглокову, одну из своих статс-дам и свою родственницу; это меня как громом поразило; эта дама была совершенно преданна графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы, уехал тогда, не знаю с каким-то поручением, в Вену; я много плакала, видя, как она

переезжает, и также во весь остальной день; на следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут, что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать.

Я вспомнила наставление Крузе и сказала: «Виновата, матушка», и она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно увидала, что ему дали понять, что Чоглокова приставлена ко мне, потому что я не люблю его, великого князя; но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину; я ему это и сказала.

Чтобы служить мне Аргусом, – это другое дело; впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую, и, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной; Чоглокову считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания; она вышла за него замуж по любви; такой прекрасный пример, какой мне выставляли напоказ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие, я говорю «ускорило», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами; он очень бы хотел сделать то же и с приближенными Ее Императорского Величества, но там дело было труднее.

Великий князь имел, при моем приезде в Москву, в своих покоях троих лакеев, по имени Чернышевых, все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными.

Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и, действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что

иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених».

Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству, после нашей свадьбы, называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною, и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились: одни из ревности, другие – из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас.

Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну так, что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его так же, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». – «Да, – отвечал он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена – и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом.

В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышев, как и другие.

Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сивере; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: «Скоро ли вернется императрица?» Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас.

Летний дворец Петра I

На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне.

Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ревель. В то же время Чоглокова пришла мне сказать от имени Ее Императорского Величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то – делать это не иначе, как через Чоглокову. В сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы; впрочем, я не часто туда ходила и видела Ее Величество очень редко: с тех пор как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза, и обыкновенно все женщины понемногу, одна за другой, выходили из комнаты, когда я туда входила; чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ревель, и мы ей сопутствовали.

Мы с великим князем ехали в четырехместной карете, принц Август и Чоглокова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома, или станции, занимала императрица; что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды, во время этого путешествия, я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы, и что другой раз – в палатке, где поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла.

Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец, после десяти или двенадцати дней езды мы приехали в имение графа Стенбока, в 40 верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большою торжественностью, желая прибыть днем в Екатериненталь[1]; но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чоглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты; на малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ее Величеству», или: «Это не было бы одобрено императрицей», иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорилась этому и всю дорогу лишь спала в карете.

На следующий день нашего приезда в Екатериненталь возобновился наш обычный образ жизни; это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру

в передней императрицы, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам. Чоглокова была игроком – она посоветовала мне играть, подобно всем, в фараон; обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях Ее Императорского Величества или, вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были на первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Петр I; он велел выстроить этот дом и развести сад. Князь и княгиня Репнины, которые участвовали в поездке и уже знали заносчивое и лишенное здравого смысла поведение Чоглоковой в дороге, посоветовали мне поговорить об этом с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы. Эти дамы не любили Чоглокову, и они уже были осведомлены о том, что происходило; маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю, но, сидя за игрою рядом со мной, сама начала этот разговор, и так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чоглоковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем. Она сделала больше того: рассказала императрице все, что было; вероятно, Чоглоковой досталось, потому что она значительно понизила со мною тон.

По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение к грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в Ревеле некоей Цедерспарр; он не преминул, по принятому им обычаю, поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди, и у меня в Екатеринентале однажды пошла кровь горлом, вследствие чего мне сделали кровопускание.

Днем Чоглокова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах; обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мною, и предложила, от имени императрицы, чтобы развеять мою ипохондрию, как она говорила, пройтись по саду; в этот день великий князь был на охоте с обер-егермейстером графом Разумовским. Кроме того, она мне передала от Ее Императорского Величества три тысячи рублей для игры в фараон. Дамы заметили, что мне не хватало денег, и сказали это императрице. Я попросила Чоглокову поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милость ко мне и пошла с Чоглоковой прогуляться по саду, чтобы подышать воздухом. Через несколько дней после нашего приезда в Екатеринеталь приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха, и мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем

императрица отправилась смотреть маневры флота, но, кроме пушечного дыма, мы ничего не видали; день был чрезвычайно жаркий и тишина полная.

По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе, ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан, но, как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась как попало в дом и палатки. Так кончился этот праздник.

Через несколько дней императрица поехала в Рогервик. Флот снова там маневрировал, и опять мы видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней; у меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьмидесяти дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик; он обедал и ужинал с Ее Императорским Величеством. На полпути между Рогервиком и Ревелем, во время ужина, к императрице привели старуху 130 лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела дать ей кушанья со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Екатеринталь Чоглокова имела удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену.

Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены; несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чоглокова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому подобная чепуха. Это писание было передано Ее Императорскому Величеству и отбило у нее охоту ехать дальше; что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаясь за день, из Ревеля в Петербург; у меня в эту поездку очень разболелось горло, вследствие чего я пролежала несколько дней; после этого

мы отправились в Петергоф и оттуда ездили через каждую неделю в Ораниенбаум

В начале августа императрица велела сказать великому князю и мне, что мы должны говеть; мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утрени и всенощные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждого порознь, относительно того, что произошло у нас с Чернышевыми; но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мною у него вырвалось: «Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?» На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее Императорскому Величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Мы причащались в субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораниенбаум, между тем как императрица ездила в Царское Село. Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту; камергерам, камер-юнкерам, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам – всем было дано по мушкету на плечо; Его Императорское Высочество делал им каждый день ученья, назначал караулы; коридор дома служил им кордегардией, и они проводили там день; обедать и ужинать кавалеры подымались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать; из дам были только я, Чоглокова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные, – следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался: мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходились не слишком по вкусу придворным.

После бала им разрешалось идти спать к себе. Вообще, мне и всем нам опротивела скучная жизнь, которую мы вели в Ораниенбауме, где нас было пять или шесть женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем как мужчины, со своей стороны, скрепя сердце упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою.

С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но, когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их

проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.

Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму, а нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились, и, действительно, они были очень удобны; это были комнаты императрицы Анны.

Каждый вечер весь наш двор собирался у нас; тут играли в разные игры или бывали концерты; два раза в неделю бывало представление в Большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одною из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились. Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тихвин, куда она собиралась. Это была поездка на богомолье; но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что поездка отложена: нам пришли сказать потихоньку, что у обер-егермейстера Разумовского подагра, и что императрица не хочет ехать без него.

В этот промежуток времени мой камердинер Евреинов, причесывая меня однажды утром, сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышев и его братья находятся в Рыбачьей слободе, под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Масленой мой камердинер катался в санях с женою и свояченицей; свояки стояли на запятках. Муж свояченицы был канцеляристом петербургского магистрата; у этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом Тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в Рыбачью слободу и вошли к управляющему этим имением императрицы; заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за святцами, в которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет. Через несколько минут принесли книгу; свояк Евреинова схватил ее и первое, что он нашел, открыв ее, это имя Андрея Чернышева, написанное им самим вместе с числом того дня, в который великий князь подарил ему книгу; затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился, книга была возвращена, и они вернулись в Петербург, где свояк Евреинова сообщил ему по секрету о своем открытии. Евреинов убедительно просил меня не

говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово.

Две или три недели спустя мы действительно поехали в Тихвин. Эта поездка продолжалась всего пять дней; мы проезжали по пути туда и обратно через Рыбачью слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышевы; я старалась увидеть их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке; нам сказали, что у него каменная болезнь; муж Чоглоковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия; это был дурак заносчивый и грубый, все ужасно боялись этого человека и его жены, и, говоря правду, они были действительно зловредные люди. Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих Аргусов, но даже их задабривать, но тогда еще эти средства только изыскивались. Одно из самых надежных – было играть с ними в фараон: оба они были игроки, и очень жадные; эта слабость была открыта прежде всего, остальные – после.

В эту зиму умерла моя фрейлина, княжна Гагарина, от горячки, перед своей свадьбой с камергером князем Голицыным, который женился потом на ее младшей сестре. Я очень ее жалела и во время болезни часто навещала, несмотря на возражения Чоглоковой. Императрица вызвала из Москвы на ее место ее старшую сестру, вышедшую потом за графа Матюшкина.

Незадолго до Поста мы ездили с императрицей в Гостилицы на праздник к обер-егермейстеру графу Разумовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, которая меня очень огорчила. Мне дали досыта выплакаться в течение недели; но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец; на это она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем. Наконец, постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение шести недель.

Первый раз, как я вышла из комнаты, я встретила графа Санти, обер-церемониймейстера императрицы, в передней Ее Императорского Величества. Я сказала ему несколько незначительных слов и прошла своей дорогой. Несколько дней спустя Чоглокова пришла мне сказать, что императрица узнала от графа Бестужева, которому Санти передал это письменно, будто я ему сказала, что нахожу очень странным, что послы не выразили

мне соболезнования по поводу смерти отца; что императрица находит этот разговор с графом Санти очень неуместным, что я слишком горда, что я должна помнить, что мой отец не был королем, и что по этой причине я не могла и не должна была претендовать на выражение соболезнования со стороны иностранных посланников. Я была страшно поражена, услыхав слова Чоглоковой. Я ей сказала, что если граф Санти сказал или написал, что я ему сказала хоть что-нибудь похожее на подобный разговор, то он недостойный лжец, что мне ничего подобного и в голову не приходило, и что, следовательно, я не говорила ни ему, ни кому другому ничего относящегося к этому вопросу. Это была сущая правда, потому что я взяла себе за непоколебимое правило ни на что и ни в каком случае не претендовать и во всем сообразоваться с волей императрицы и делать, что мне прикажут. По-видимому, простодушие, с которым я ответила Чоглоковой, ее убедило; она мне сказала, что не преминет передать императрице, что я формально отрицаю слова графа Санти. И, действительно, она пошла к Ее Императорскому Величеству и вернулась сказать мне, что императрица очень сердита на графа Санти за такую ложь, и что она приказала сделать ему выговор.

Через несколько дней граф Санти подослал ко мне кряду нескольких лиц, между прочими камергера Никиту Панина и вице-канцлера Воронцова, чтобы сказать мне, что граф Бестужев принудил его солгать, и что он очень жалеет, что через это находится у меня в немилости. Я сказала этим господам, что лжец лжецом и останется, какие бы ни имел причины для лжи, и что из опасения, чтобы этот господин не приплетал меня к своему вранью, я с ним больше не стану говорить; я сдержала слово и не говорила с ним больше. Вот что я думаю об этой истории.

Санти был итальянец; он любил вести переговоры и очень был занят своими обязанностями обер-церемониймейстера; я с ним всегда говорила, как и со всеми; он, может быть, думал, что выражения соболезнования дипломатического корпуса могли бы быть уместны, и надо полагать по складу его ума, что он думал сделать мне этим приятное; он и пошел к графу Бестужеву, великому канцлеру, своему начальнику, и сказал ему, что я вышла в первый раз, показалась ему очень опечаленной смертью отца, и, может быть, прибавил, что не соблюденные по этому случаю изъявления соболезнования могли еще увеличить мое огорчение. Граф Бестужев, всегда злобствующий, обрадовался случаю меня унизить: он велел Санти тотчас же изложить письменно, что тот ему сказал или намекнул и подтвердил моим именем, и велел ему подписать этот протокол; Санти, боясь своего начальника, как огня, и особенно страшась потерять свое

место, не замедлил подписать эту ложь, вместо того чтобы пожертвовать своей карьерой. Великий канцлер послал эту записку императрице, которая рассердилась, предполагая такие претензии с моей стороны, и послала ко мне Чоглокову, как выше сказано. Но когда императрица услышала мой ответ, основанный на сущей правде, то из всего этого вышло, что господин обер-церемониймейстер остался с носом.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин

Весною мы переехали на житье в Летний дворец, а оттуда – на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чоглоков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа, который был туда же отправлен полковником по представлению Чоглокова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались

уже раньше, например, в лице графа Захара Чернышева в 1745 г. по просьбе его матери; но все же на эти увольнения смотрели при дворе как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Так как принц Август получил все, чего желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чоглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер-лакеев.

На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать; когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чоглоковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти; днем их прятали в мою кровать и под нее.

Великий князь ложился первый после ужина, и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чоглокова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной; ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили

спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули.

Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чоглокову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чоглоковых, и также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко; то же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь, таким образом, всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал.

Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла альков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони.

Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе; так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны Его Императорского Высочества. 6 января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой Масленой при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальной; он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали.

С наступлением Поста от него удалили еще четверых лиц; в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что

только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию, на помощь императрице-королеве Марии-Терезии. Это была форменная немилость для князя Репнина; он туда отправился и уже не возвратился, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значат подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать. Все окружавшие нас, до ближайших родственников Чоглоковых, старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чоглоковой, граф Гендриков, и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения, и другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека; он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя, и все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал; это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурно воспитанный и невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный.

Во время того же Поста, однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы; Чоглоковы еще не приходили; разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцын. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что при том нас чернят в глазах императрицы; так, несколько дней тому назад Ее Императорское Величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я ни делаю, глупо, что при этом я воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману, и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимания на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю, и Овцын прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его Бог создал; что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что, при тридцати тысячах содержания, мать оставила мне, уезжая, шестьдесят тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее; что сверх того графиня Румянцева вовлекала меня в тысячу расходов, которые она считала необходимыми; что

Чоглокова одна стоит мне в этом году семнадцать тысяч рублей, и что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день; что он может ответ передать тем, от кого получил это поручение; что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была неуважительной, непокорной и непочтительной, и что чем больше будут за мною наблюдать, тем больше в этом убедятся.

Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово – не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом и остерегалась сама возобновлять беседу, столь мало приятную. В последнюю неделю Поста у меня сделалась корь, я не могла явиться на Пасху и причащалась в своей комнате в субботу. Во время этой болезни Чоглокова, хоть и беременная на последнем месяце, почти не покидала меня и делала все, что могла, чтобы развлекать меня. При мне была тогда маленькая калмычка, которую я очень любила; этот ребенок получил от меня корь.

После Пасхи мы переехали в Летний дворец и оттуда в конце мая на Вознесенье ездили к графу Разумовскому в Гостилицы; императрица выписала туда 23-го того же месяца посла императорского двора барона Бретлаха, который ехал в Вену; он провел в Гостилицах вечер и ужинал с императрицей. Этот ужин кончился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в домик, где жили. Этот деревянный домик был расположен на маленькой возвышенности и примыкал к катальной горе. Расположение этого домика нам понравилось зимою, когда мы были в Гостилицах на именинах обер-егермейстера, и, чтобы доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в этом домике; он был двухэтажный; верхний этаж состоял из лестницы, зала и трех маленьких комнат; мы спали в одной, великий князь одевался в другой, а Крузе занимала третью, внизу помещались Чоглокова, мои фрейлины и горничные.

Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов утра сержант гвардии Левашов приехал из Ораниенбаума к Чоглокову поговорить насчет построек, которые тогда там производились; найдя всех спящими, он сел возле часового и услышал треск, показавшийся ему подозрительным; часовой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обежал дом снаружи; он увидел, что из-под дома вываливаются большие каменные плиты; он побежал разбудить Чоглокова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее постараться вывести из дома всех, кто в нем находится. Чоглоков надел шлафрок и побежал наверх;

стеклянные двери были заперты; он взломал замки и дошел до комнаты, где мы спали; отдернув занавес, он нас разбудил и велел поскорее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я сказала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел; я оделась наскоро; одеваясь, я вспомнила, что Крузе спала в соседней комнате; я пошла ее разбудить, она спала очень крепко, мне удалось с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо выходить из дому.

Я помогла ей одеться, и, когда она была готова, мы переступили порог комнаты и вошли в зал, но едва мы там очутились, как все затряслось, с шумом, подобным тому, с каким корабль спускается с верфи. Крузе и я упали на пол; в эту минуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты; я взглянула случайно на гору; она была в уровень со вторым этажом, теперь же, по крайней мере на аршин, выше уровня этого второго этажа. Левашов, дойдя со мною до лестницы, по которой пришел, не нашел ее больше: она обрушилась, но так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов передал меня ближайшему, этот – другому, и так, переходя с рук на руки, я очутилась внизу лестницы, в прихожей, а оттуда меня вынесли из дому на лужайку. Там был и великий князь, в шлафроке.

Выбравшись, я стала смотреть, что делалось в стороне дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окровавленные, а других выносили; между наиболее тяжело раненными была моя фрейлина княжна Гагарина: она хотела спастись из дому, как и другие, и, когда проходила по комнате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате кровать; несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее ранили, так же, как и горничную, спасавшуюся вместе с ней. В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спало несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившейся печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что произошло между фундаментом этого дома и первыми этажами. Шестнадцать работников, служивших при катальной горе, спали там, и все были раздавлены этим осевшим строением. Причиной всего этого было то, что домик этот был построен осенью, наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда известняковых плит; архитектор велел поставить в первом этаже двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен был отправиться в Украину; уезжая, он приказал управляющему Гостилиц запретить до своего возвращения прикасаться к этим двенадцати балкам.

Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом домике, то, несмотря на распоряжение архитектора, принял самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенадцать балок, так как они портили сени. Когда наступила оттепель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, которые стали сползать в разные стороны, и само здание поползло до бугра, который его задержал.

Я отделалась несколькими синяками и большим страхом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий испуг был так велик, что в течение четырех с лишком месяцев всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла нас всех вздрагивать. Когда первый страх прошел, в этот день императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе, и, так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались находить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не находили ничего опасного; мой страх ей очень не понравился, и она рассердилась на меня за него; обер-егермейстер плакал и приходил в отчаяние; он говорил, что застрелится из пистолета; вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились в Петербург, после нескольких недель нашего пребывания в Летнем дворце…

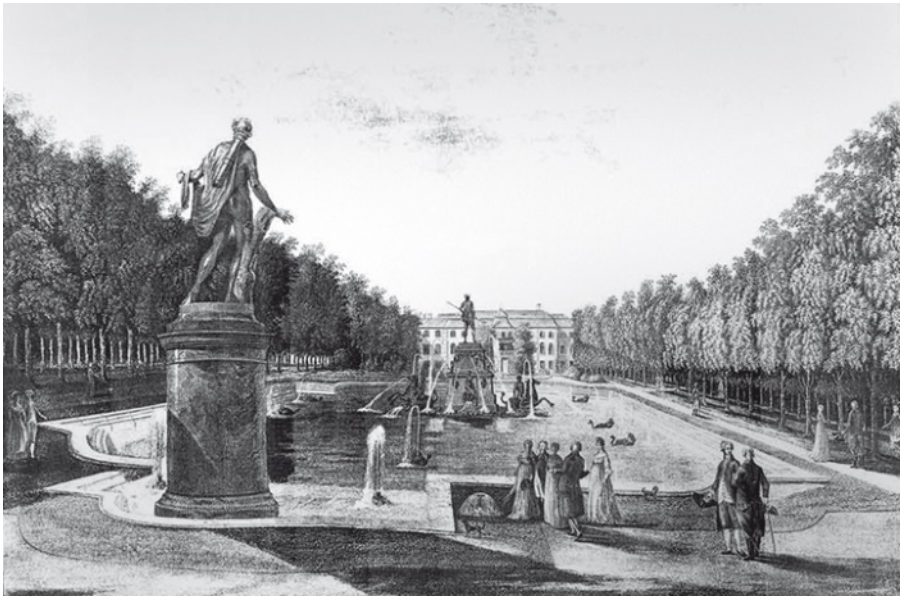
Не помню точно, но мне кажется, что приблизительно около этого времени приехал в Россию [мальтийский] кавалер Сакрамоза. Уже давно не приезжало в Россию мальтийских кавалеров, и, вообще, тогда очень мало видно было иностранцев, навещающих Петербург; следовательно, его приезд был своего рода событием. С ним обошлись как можно лучше и показали ему все достопримечательности Петербурга, а в Кронштадте один из лучших флотских офицеров был назначен на этот случай, чтобы сопровождать его; это был Полянский, капитан линейного корабля, впоследствии адмирал. Он был нам представлен; целуя мою руку, Сакрамоза сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: «Это от вашей матери».

Я почти что остолбенела от страху перед тем, что он только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил, особенно Чоглоковы, которые были совсем близко. Однако я взяла записку и сунула ее в перчатку; никто этого не заметил. Вернувшись к себе в комнату, в этой свернутой записке, в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя, я, действительно, нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала меня об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь. Я ответила матери и уведомила ее о том, что она

хотела знать; я сказала ей, что мне было запрещено писать ей и кому бы то ни было, под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в Коллегии иностранных дел и под которыми я должна была только ставить свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо Коллегия знала лучше меня, что следовало в них сказать; что Олсуфьеву чуть не вменили в преступление то, что я послала ему несколько строк, которые просила включить в письмо к матери. Я сообщила ей еще несколько сведений, о которых она меня просила.

Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выждала с тревогой и нетерпением минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д'Ололио, того человека, на которого мне указали. Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана свой носовой платок, и таким образом широко открыл карман; я сунула туда, как ни в чем не бывало, свою записку и отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался. Сакромозо во время своего пребывания в Петербурге сунул мне еще две или три записки, касавшиеся одного и того же, и ответы мои были ему так же переданы, и никто никогда об этом ничего не узнал. Из Летнего дворца мы поехали в Петергоф, который тогда перестраивали.

Нас поместили наверху, в старой постройке Петра I, тогда существовавшей. Здесь от скуки великий князь стал играть со мною вдвоем каждый день после обеда в ломбер; когда я выигрывала, он сердился, а когда проигрывала – требовал, чтобы ему было уплачено немедленно; у меня не было ни гроша, за неимением денег, он принимался играть со мною вдвоем в азартные игры.



Петергоф

Помню, что однажды его ночной колпак служил нам маркой в десять тысяч рублей; но когда в конце игры он проигрывал, то приходил в ярость и был способен дуться в течение нескольких дней; эта игра ни с какой стороны не была мне по душе. Во время этого пребывания в Петергофе мы увидели в окна, которые выходили в сад у моря, что муж и жена Чоглоковы постоянно ходят взад и вперед из верхнего дворца во дворец в Монплезире,

на берегу моря, где жила тогда императрица. Это заинтересовало нас так же, как и Крузе. Чтобы узнать причину этих частых хождений туда и обратно, Крузе пошла к своей сестре, которая была старшей камер-фрау императрицы. Она вернулась оттуда вся сияющая, узнав, что все эти хождения происходили оттого, что до императрицы дошло, что у Чоглокова была любовная интрига с одной из моих фрейлин, Кошелевой, и что она была беременна. Императрица велела позвать Чоглокову и сказала ей, что муж ее обманывает, тогда как она любит его до безумия; что она была слепа до того, что эта девица, любовница ее мужа, чуть не жила у нее; что если она пожелает теперь разойтись с мужем, то сделает угодное императрице, которая без удовольствия смотрела на брак Чоглоковой с ее мужем. Она прямо объявила ей, что не желает, чтобы ее муж оставался при нас, что она уволит его, а ей оставит ее должность. Жена в первую минуту стала отрицать перед императрицей страсть своего мужа, утверждала, что это клевета, но ее Императорское Величество в то время, как говорила с женой, послала расспросить девицу. Эта последняя во всем совершенно чистосердечно призналась, что вызвало в жене ярость против мужа. Она вернулась к себе и стала ругать мужа; он упал перед ней на колени и стал просить прощения, и пустил в ход все влияние, какое имел на нее, чтоб ее смягчить. Куча детей, какую они имели, послужила к тому, чтобы восстановить их согласие, которое между тем не стало с тех пор более искренним; разъединенные по любви, они были связаны по интересу; жена простила мужу, она пошла к императрице и сказала ей, что все простила мужу и хочет оставаться с ним из любви к своим детям; она на коленях умоляла императрицу не удалять ее мужа с позором от двора – это значило бы обесчестить ее и довершить ее горе; наконец, она вела себя в этом случае с такою твердостью и великодушием, и ее горе, кроме того, было так действительно, что она обезоружила гнев императрицы. Она сделала больше того: она привела мужа к Ее Императорскому Величеству, высказала ему всю правду, а потом бросилась вместе с ним на колени к ногам императрицы и просила ее простить ее мужа ради ее и ее шестерых детей, отцом которых он был.

Все эти различные сцены продолжались пять или шесть дней, и мы узнавали почти с часу на час, что происходило, потому что нас меньше караулили в этот промежуток времени и потому что все надеялись увидеть отставку этих людей. Но исход вовсе не соответствовал ожиданию, какое у всех сложилось, ибо удалили только девицу к ее дяде, обер-гофмаршалу Шепелеву, а Чоглоковы остались, впрочем, в меньшем почете, сравнительно с тем, каким они пользовались до тех пор. Выбрали день, в который

мы должны были ехать в Ораниенбаум, и в то время, как мы ехали в одну сторону, девицу отправили в другую.

В Ораниенбауме мы занимали в этом году флигеля направо и налево от малого дворцового корпуса; приключение в Гостилицах так напугало, что во всех придворных домах велено было осмотреть потолки и полы, после чего починили все, какие в том нуждались. Вот образ жизни, какой я тогда вела в Ораниенбауме. Я вставала в три часа утра, сама одевалась с головы до ног в мужское платье; старый егерь, который у меня был, ждал уже меня с ружьями; на берегу моря у него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече, и мы садились – он, я, легавая собака и рыбак, который нас вез, – в этот челнок, и я отправлялась стрелять уток в тростниках, окаймляющих море с обеих сторон Ораниенбаумского канала, который на две версты уходит в море. Мы огибали часто этот канал и, следовательно, находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке.

Великий князь приезжал через час или два после нас, потому что ему надо было всегда тащить с собою завтрак и еще невесть что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе; если же нет, то каждый из нас ездил и охотился порознь. В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая; я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда «Записки» Брантома, которые меня очень забавляли; перед этим я прочла «Жизнь Генриха IV» Перефикса.

К осени мы вернулись в город, и нам сказали, что зимою мы поедем в Москву. Крузе пришла мне сказать, что мне нужно прибавить белья для этой поездки; я подробно занялась этим бельем; Крузе предполагала развлечь меня, распорядившись кроить белье в моей комнате, чтобы, как она говорила, показать мне, сколько может выйти рубашек из куска полотна. Это ученье или это развлечение не понравилось, верно, Чоглоковой, которая была в самом дурном расположении духа с тех пор, как открыла измену своего мужа. Не знаю, что она пошла сказать императрице, но только она пришла как-то днем сказать мне, что императрица увольняет Крузе от ее должности при мне, что Крузе удалится к своему зятю, камергеру Сиверсу, и на следующий день привела мне Владиславову, чтоб она заняла при мне ее место. Это

была женщина высокого роста, с хорошими, по-видимому, манерами; ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось.

Я спросила об этом выборе моего оракула Тимофея Евреинова, который сказал, что эта женщина, которую я никогда раньше не видала, была тещей старшего чиновника при графе Бестужеве, советника Пуговишникова, что у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она слыла за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Прасковья Никитична. Она начала очень удачно; она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до четвертого и пятого колена, очень отчетливо помнила родословные отцов, матерей, дедов, бабок и прадедов и предков с отцовской и материнской стороны всех на свете, и никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение ста лет, более обстоятельно, чем она. Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились, и, когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чоглоковых, но так как она очень часто ходила также в покои императрицы и совсем не знали, зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова.

Из Летнего дворца мы перешли в Зимний. Здесь нам представили г-жу Латур Лонуа, которая была при императрице в ее ранней молодости и последовала за цесаревной Анной Петровной, старшей дочерью Петра I, когда эта последняя покинула Россию со своим мужем, герцогом Голштинским, во время царствования императора Петра I I. По смерти этой герцогини г-жа Лонуа возвратилась во Францию и в настоящее время вернулась в Россию, чтоб или поселиться здесь, или снова уехать, получив от императрицы некоторые милости. Г-жа Лонуа надеялась, что в качестве старой знакомой она снова войдет в милость и близкое расположение императрицы, но она очень ошиблась; все соединились, чтобы оттеснить ее. С первых дней ее приезда я предвидела, что произойдет, и вот как. Однажды вечером, когда была карточная игра в покоях императрицы, Ее Императорское Величество ходила из комнаты в комнату и нигде не усаживалась, как она обыкновенно делала. Г-жа Лонуа, думая, вероятно, выразить ей свою угодливость, следовала за ней повсюду, куда она ни шла. Чоглокова, видя это, сказала мне: «Смотрите, как эта женщина следует всюду за императрицей; но

это недолго будет длиться; ее скоро отучат так за ней бегать». Я запомнила это, и, действительно, ее стали отстранять, а потом отправили во Францию с подарками.

В течение этой зимы состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден, фрейлиной императрицы. Ее Императорское Величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило.

Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидала там графа Лестока; я подошла к нему, чтобы поговорить; он мне сказал вполголоса: «Не подходите ко мне, я в подозрении». Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит; он возразил: «Повторяю вам очень серьезно – не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать». Я видела, что он изменился в лице и был очень красный; я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу.

В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: «Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?» Никто не знал, из-за чего, знали только, что генерал Степан Апраксин и Александр Шувалов были назначены следователями по этому делу. Отъезд двора в Москву был назначен на 16 декабря. Чернышевы были переведены из крепости в дом, принадлежавший императрице и называвшийся Смольный двор. Старший, из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям.

Однажды моя гардеробная девушка-финка, которая была невестой одного камер-лакея, родственника Евреинова, принесла мне письмо от Андрея Чернышева, в котором он меня просил о разных вещах. Эта девушка видала его у своего жениха, где они провели вместе вечер. Я не знала, куда сунуть это письмо, когда его получила; я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил. Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери; через эту девушку я купила серебряное перо с чернильницей. Днем письмо было у меня в кармане; раздеваясь, я засовывала его в чулок, за подвязку, и, прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав; наконец, я ответила, послала ему, чего он желал, тем же путем, которому он доверил свое письмо, и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо, причинявшее мне столь большие хлопоты.

В половине декабря мы уехали в Москву. Мы с великим князем были в большом возке, дежурные кавалеры – на передке.

Великий князь днем садился в городские сани с Чоглоковыми, а я оставалась в большом возке, которого мы никогда не закрывали, и разговаривала с теми, кто сидел на передке. Помню, что камергер князь Александр Юрьевич Трубецкой рассказал мне в это время, будто граф Лесток, будучи заключен в крепость, в течение первых одиннадцати дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу. Его обвиняли в том, что он взял десять тысяч рублей от Прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отравил некоего Этингера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь. В этом путешествии императрица обогнала нас в Твери, и так как для ее свиты взяли лошадей и провизию, какие были заготовлены для нас, то мы остались в течение суток в Твери без лошадей и без пищи.

Мы были очень голодны; к вечеру Чоглоков достал нам жареную стерлядь, которая показалась нам превкусной. Мы поехали ночью и приехали в Москву за два или за три дня до Рождества. Первое известие, которое мы там получили, было то, что камергер нашего двора, князь Александр Михайлович Голицын, в минуту нашего отъезда из Петербурга получил приказание отправиться в Гамбург русским посланником, с четырьмя тысячами жалованья. На это опять посмотрели как на новое изгнание; его свояченица, княжна Гагарина, которая была при мне, очень об этом плакала, и мы все его жалели.

Мы заняли в Москве помещение, которое было отведено мне с матерью в 1744 году. Чтобы отправиться в главную придворную церковь, надо было объехать в карете вокруг всего дома; в самый день Рождества, в час обедни, мы собирались сесть в карету и уже были для этого на крыльце, при 28 – 29-градусном морозе, когда нам пришли сказать от имени императрицы, что она освобождала нас от поездки к обедне в этот день, по случаю чрезвычайного холода, какой стоял; действительно, мороз щипал за нос.

Я была принуждена оставаться в своей комнате в первое время моего пребывания в Москве из-за необыкновенного количества прыщей, высыпавших у меня на лице; я смертельно боялась остаться угреватой; я послала за доктором Бургавом, который дал мне успокоительные средства и разные разности, чтобы согнать прыщи с лица; наконец, когда ничто не помогло, он мне сказал однажды: «Я вам дам средство, которое их сгонит». Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например, еженедельно. Действительно, тальковое масло очистило мне лицо, и дней через десять я могла

показываться. Немного времени спустя после нашего приезда в Москву Владиславова пришла передать мне, что императрица приказала поскорее сыграть свадьбу моей гардеробной девушки-финки. Единственная причина, по которой, вероятно, спешили с этой свадьбой, заключалась, по-видимому, в том, что я выказывала некоторое предпочтение этой девушке, которая была веселой толстушкой, смешившей меня иногда тем, что передразнивала всех, и особенно забавно Чоглокову. Итак, ее выдали замуж и больше и речи о ней не было.

Среди Масленой, в течение которой не было никакого веселья, ни развлечения, императрица почувствовала себя нездоровой; у нее сделались сильные колики, которые, казалось, становились очень серьезными. Владиславова и Тимофей Евреинов шепнули мне это на ухо, убедительно прося меня никому не говорить о том, что они мне сказали. Не называя их, я предупредила великого князя, что его сильно встревожило.

Однажды утром Евреинов пришел мне сказать, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели эту ночь в комнате Чоглоковых, что давало основание думать, что императрица очень плоха. Чоглоков и его жена были нахмурены более, чем когда-либо, приходили к нам, обедали и ужинали у нас, но ни слова не проронили об этой болезни, и мы тоже не говорили о ней, а следовательно, и не смели послать узнать, как здоровье императрицы, потому что прежде всего спросили бы, как и откуда и через кого вы знаете, что она больна, а те, которые были бы названы или даже заподозрены, наверное, были бы уволены, сосланы или даже отправлены в Тайную канцелярию, государственную инквизицию, которой все боялись пуще огня.

Наконец, когда через десять дней императрице стало лучше, при дворе праздновали свадьбу одной из ее фрейлин. За столом я сидела рядом с графиней Шуваловой, любимицей императрицы. Она мне рассказала, что императрица была еще так слаба от ужасной болезни, которую вынесла, что она убирала голову невесте своими брильянтами (честь, которую она оказывала всем своим фрейлинам), сидя на постели только со спущенными ногами с постели, и что поэтому она не показалась на свадебном пиру. Так как графиня Шувалова первая заговорила со мной об этой болезни, я выразила ей огорчение, которое мне причиняет ее состояние, и участие, какое я в нем принимаю. Она мне сказала, что императрица с удовольствием узнает о моем образе мыслей по этому поводу.

День спустя Чоглокова пришла утром в мою комнату и сказала мне в присутствии Владиславовой, что императрица очень сердита на великого князя и на меня за недостаток участия

к ее болезни, дошедший до того, что мы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Я сказала Чоглоковой, что я ссылаюсь на нее самое в том, что ни она, ни ее муж ни слова не сказали нам о болезни императрицы, что, ничего о ней не зная, мы не могли выказать участия, какое мы в ней принимали. Она мне ответила: «Как вы можете говорить, что вы ничего не знали? Графиня Шувалова сказала императрице, что вы с ней говорили за столом об этой болезни». Я ей ответила: «Это правда, что я с ней говорила об этом, ибо она сказала мне, что Ее Величество еще очень слаба и не может выходить, и тогда я у нее расспросила подробно об этой болезни». Чоглокова ушла ворча, а Владиславова сказала мне, что странно сердиться на людей за то, чего они не знают, что так как Чоглоковы одни были вправе сказать нам об этом, то, если они этого не сделали, это их вина, а не наша, если мы не выказали участия по неведению. Несколько времени спустя на куртаге императрица приблизилась ко мне, и я нашла удобную минуту, чтобы сказать ей, что ни Чоглоков, ни его жена не осведомили нас об ее болезни, и что поэтому мы не имели возможности выразить ей участие, которое мы в ней принимали. Она это очень хорошо приняла, и мне показалось, что влияние этих людей уменьшается.

Однажды императрица поехала обедать к генералу Степану Апраксину; мы были в числе приглашенных. После обеда привели к императрице одного старика, князя Долгорукова, который жил напротив дома генерала Апраксина. Это был князь Михаил Владимирович Долгоруков, который прежде был сенатором, но не умел ни читать, ни писать ничего, кроме своего имени; однако он считался гораздо умнее своего брата, фельдмаршала князя Василия Долгорукова, умершего в 1746 году. На следующий день я узнала, что третья дочь генерала Степана Апраксина, у которого мы накануне обедали, умерла в этот день от оспы; я перепугалась: все дамы, приглашенные с нами на обед к генералу Апраксину, то и дело сновали взад и вперед из комнаты этого больного ребенка в покои, где мы были. Но и на этот раз я отделалась только страхом. Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина, из которых старшая становилась очень красивой – ей могло быть тогда около тринадцати лет; это та самая, которая потом вышла замуж за князя Куракина; второй было только шесть лет; она была тогда чахоточной, харкала кровью и была буквально одна кожа да кости; конечно, и не подозревали, что она станет столь большою, столь колоссальною, столь чудовищно толстою, какой все те, кто ее знали, видели Талызину, ибо это именно та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком.

На первой неделе Поста Чоглоков хотел говеть. Он исповедался, но духовник императрицы запретил ему причащаться. Весь двор говорил, что это по приказанию Ее Императорского Величества из-за его приключения с Кошелевой. Одно время, когда мы были в Москве, Чоглоков, казалось, был в очень тесной дружбе с канцлером графом Бестужевым-Рюминым и с закадычным его другом генералом Степаном Апраксиным. Он был постоянно у них или с ними, и, если его послушать, можно было сказать, что он ближайший советник графа Бестужева, чего на самом деле не могло быть, потому что у Бестужева было чересчур много ума, чтобы принимать советы от такого заносчивого дурака, каким был Чоглоков. Но почти на половине нашего пребывания в Москве эта чрезвычайная близость вдруг прекратилась, не знаю хорошенько, почему, и Чоглоков стал заклятым врагом тех, с кем перед этим жил в такой близости.

Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать «Историю Германии» отца Барра, каноника собора св. Женевьевы, 8 или 9 томов в четвертку. В неделю я прочитывала по книге, после чего я прочла произведения Платона. Мои комнаты выходили на улицу; противоположные им были заняты великим князем; его окна выходили на маленький двор. Я читала у себя в комнате; одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла, сколько хотела, а потом выходила, и другая занимала ее место, когда находила это кстати. Я дала понять Владиславовой, что это было ни к чему и только меня беспокоило; и без этого мне приходилось страдать от близости комнат великого князя и от того, что в них происходило; что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев. Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета. Вот что заставляло нас страдать: утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат (потому что у него больше не было) в другой; тех же собак, которые уставали или отставали, он строго наказывал; это заставляло их визжать еще больше; когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказание собак, что мне, поистине, казалось жестоким.

Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь спальной, в которой сидела и

которая была смежной с тою комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост. Это был бедный маленький шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку изо всей силы толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще, слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его; жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души.

Около этого времени мой камердинер Тимофей Евреинов передал мне письмо своего прежнего товарища, Андрея Чернышева, которого наконец освободили и который проезжал поблизости от Москвы в свой полк, куда он был назначен поручиком. Я поступила с этим письмом, как с предыдущим, и послала ему все, что он у меня просил, и ни слова не сказала ни великому князю, и ни одной живой душе. Весною императрица вызвала нас в Перово, где мы провели несколько дней с нею у графа Разумовского. Великий князь и Чоглоков таскались почти весь день по лесам с хозяином дома; я читала у себя в комнате, или же Чоглокова, когда не играла в карты, приходила посидеть со мною от скуки. Она очень жаловалась на скуку, царившую в этом месте, и на постоянные охоты своего мужа, который стал страстным охотником с тех пор, как ему в Москве подарили прекрасную английскую борзую. Я узнала от других, а не от нее, что муж ее служил посмешищем для всех других охотников и что он воображал и его уверяли, будто его Цирцея (так звали его суку) брала всех зайцев, которых ловили. Вообще Чоглоков воображал, что все, что ему принадлежало, было редкой красоты или редкой доброты: его жена, дети, слуги, дом, стол, лошади, собаки – все, что ему принадлежало, возбуждало его самолюбие; хотя бы все это было весьма посредственно, но раз это принадлежало ему, то становилось в его глазах несравненным. В Перове со мной случилась такая головная боль, какой я не запомню в своей жизни. Чрезвычайная боль вызвала у меня ужасную тошноту, меня вырвало несколько раз, и каждый шаг, какой делали в комнате, увеличивал мою боль. Я провела почти сутки в таком состоянии и наконец заснула.

На следующий день я чувствовала только слабость; Чоглокова всячески позаботилась обо мне во время этого сильного приступа; вообще, все люди, которых ставило вокруг меня самое отъявленное недоброжелательство, в очень короткое время

становились ко мне невольно благосклонными, и, когда их не настраивали и не возбуждали их снова, они действовали вопреки расчетам тех, кто ими пользовался, и часто поддавались склонности, которая влекла их ко мне, или, по крайней мере, интересу, который я им внушала; они никогда не видели меня надутой или нахмуренной, но всегда готовой пойти навстречу малейшему шагу с их стороны. Во всем этом помогал мне мой веселый нрав, потому что все эти Аргусы часто забавлялись речами, с которыми я к ним обращалась, и мало-помалу невольно переставали хмуриться.

В Перове у императрицы случился новый приступ колик. Она велела перевезти себя в Москву, и мы поехали шагом во дворец, который находился всего в четырех верстах оттуда. Этот приступ не имел никаких последствий, и вскоре затем императрица поехала на богомолье в Троицкий монастырь. Ее Императорское Величество хотела пройти эти пятьдесят верст пешком и для этого отправилась в свой дом, в Покровское; нам тоже велели направить путь к Троице, и мы поселились на этом пути, в одиннадцати верстах от Москвы, на очень маленькой даче, принадлежавшей Чоглоковой и называвшейся Раево. Все помещение состояло из маленького зала среди дома с двумя маленькими комнатами по бокам; разбили палатки вокруг дома, где разместилась вся наша свита. У великого князя была одна палатка, я занимала одну маленькую комнату, Владиславова – другую; Чоглоковы были в остальных палатках; обедали мы в зале.

Императрица делала пешком три-четыре версты, потом отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето. Мы ежедневно ходили на охоту после обеда. Когда императрица дошла до Тайнинского, которое находится почти насупротив Раева, по ту сторону большой дороги в Троицкий монастырь, гетман граф Разумовский, младший брат фаворита, живший на своей даче в Петровском, на Петербургской дороге, по другую сторону Москвы, вздумал приезжать к нам каждый день в Раево. Это был человек очень веселый и приблизительно наших лет. Мы очень его любили. Чоглоковы охотно принимали его к себе, как брата фаворита; его посещения продолжались все лето, и мы всегда встречали его с радостью; он обедал и ужинал с нами и после ужина уезжал в свое имение; следовательно, он делал от сорока до пятидесяти верст в день.

Лет двадцать спустя мне вздумалось его спросить, что заставляло его тогда приезжать делить скуку и нелепость нашего пребывания в Раеве, тогда как его собственный дом ежедневно кишел лучшим обществом, какое тогда было в Москве. Он мне

ответил, не колеблясь: «Любовь». – «Но, боже мой, – сказала я ему, – в кого вы у нас могли быть влюблены?» – «В кого? – сказал он мне. – В вас».

Я громко рассмеялась, ибо никогда в жизни этого не подозревала. Впрочем, он уже был несколько лет женат на богатой наследнице из дома Нарышкиных, на которой императрица женила его, правда, немного против его воли, но с которой он, казалось, хорошо жил; впрочем, хорошо было известно, что все самые хорошенькие придворные и городские дамы разрывали его на части. И действительно, это был красивый мужчина своеобразного нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата, который, в свою очередь, равнялся с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью. Эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми, какую я когда-либо видела.

Около Петрова дня императрица велела нам сказать, чтобы мы ехали к ней в Братовщину. Мы тотчас же туда отправились. Так как всю весну и часть лета я была или на охоте, или постоянно на воздухе, потому что раевский дом был так мал, что мы проводили большую часть дня в окружавшем его лесу, то я приехала в Братовщину чрезвычайно красной и загоревшей. Императрица, увидев меня, ужаснулась моей красноте и сказала мне, что пришлет умыванье, чтобы снять загар. Действительно, она тотчас же прислала мне пузырек, в котором была жидкость, составленная из лимона, яичных белков и французской водки; она приказала, чтобы мои женщины заучили состав и пропорцию, какую нужно положить; несколько дней спустя мой загар прошел, и с тех пор я стала пользоваться этим средством и давала его многим лицам для употребления в подобных случаях. Когда кожа разгорячена, я не знаю лучшего средства; это хорошо еще и против того, что по-русски называется «лишай», по-немецки *Flechten*, – французского названия я сейчас не припомню, – это не что иное, как жар, который заставляет трескаться кожу. Мы провели Петров день в Троицком монастыре, и, так как в этот день после обеда великому князю нечем было заняться, он придумал дать бал у себя в комнате, где, однако, были только он, два его камердинера и две женщины, которые были со мной и одной из которых было за пятьдесят. Из монастыря императрица поехала в Тайнинское, а мы снова в Раево, где вели тот же образ жизни. Мы оставались там до половины августа, когда…

Экслибрис частной библиотеки Екатерины II

Императрица поехала в Софьино, – эта местность расположена в 60–70 верстах от Москвы. Мы стояли там лагерем. На другой день по приезде в это место мы пошли в ее палатку; там мы увидели, что она бранит управляющего этим имением. Она ездила на охоту и не нашла зайцев. Этот человек был бледен и дрожал, и не было ругательства, какого бы она ему не высказала; поистине она была в бешенстве. Видя, что мы пришли поцеловать ей руку, она поцеловала нас по обыкновению и продолжала бранить своего человека; в своем гневе она проезжалась насчет всех, против кого что-либо имела или на кого была сердита. Она доходила до этого постепенно, и велика была беглость ее речи. Она между прочим стала говорить, что она очень много понимает в управлении имением, что ее научило этому царствование императрицы Анны, что, имея мало денег, она умела беречься от расходов, что если бы она наделала долгов, то боялась бы Страшного Суда, что, если бы она умерла тогда с долгами, никто не заплатил бы их и душа ее пошла бы в ад, чего она не хотела; что для этого дома и когда не было особой нужды, она носила очень простые платья, кофту из белой тафты, юбку из серого гризета, чем и делала сбережения, и что она отнюдь не

надевала дорогих платьев в деревне или в дороге; это было в мой огород: на мне было лиловое с серебром платье. Я это запомнила твердо. Это поучение – потому что иначе это и нельзя назвать, так как никто не говорил ни слова, видя, как она пылает и сверкает глазами от гнева, – продолжалось добрых три четверти часа. Наконец, ее шут Аксаков прекратил это: он вошел и подал ей в своей шапке маленького ежа. Она подошла к нему взглянуть и, как только его увидела, взвизгнула и сказала, что он похож на мышь, и побежала со всех ног внутрь палатки, потому что смертельно боялась мышей. Мы больше ее не видели; она обедала у себя, после обеда поехала на охоту, взяла с собою великого князя, а я получила приказание вернуться с Чоглоковой в Москву, куда великий князь приехал вслед за мной несколько часов спустя, так как охота была короткая из-за очень сильного в тот день ветра.

Как-то в воскресенье императрица вызвала нас в Тайнинское из Раева, куда мы вернулись, и мы удостоились чести обедать с Ее Императорским Величеством. Она была одна в конце стола, великий князь направо от нее, я – налево, против него; возле великого князя – фельдмаршал Бутурлин, возле меня – графиня Шувалова. Стол был очень длинный и узкий; великий князь, сидя между императрицей и фельдмаршалом Бутурлиным, так напился с помощью этого фельдмаршала, который не прочь был выпить, что он перешел всякую границу: не помнил, что говорит и делает, заплетался в словах, и на него было так неприятно смотреть, что у меня навернулись слезы на глазах, у меня, скрывавшей тогда или смягчавшей, насколько могла, все, что было в нем предосудительного; императрица была довольна моею чувствительностью и встала ранее обыкновенного из-за стола.

Его Императорское Высочество должен был ехать после обеда на охоту с графом Разумовским. Он остался в Тайнинском, а я вернулась в Раево. Дорогой у меня страшно разболелись зубы; погода становилась холодной и сырой, а в Раеве едва можно было укрыться. Брат Чоглоковой, граф Гендриков, который был дежурным при мне камергером, предложил сестре немедленно меня вылечить; она мне сказала, я согласилась попробовать его средство, которое мне показалось пустячным или, вернее, вполне шарлатанским; он тотчас же пошел в другую комнату и принес оттуда очень маленькую бумажную трубочку, которую велел жевать больным зубом; едва я сделала то, что он мне сказал, как зубная боль моя стала такой сильной, что я должна была лечь в постель; у меня сделалась сильная лихорадка и такой жар, что я стала бредить. Чоглокова, испуганная моим состоянием и приписывая его средству своего брата, побранилась с ним; она не

отходила от моей постели всю ночь и послала сказать императрице, что ее дом в Раеве никоим образом не годится ни для кого, кто был так тяжко болен, как ей думалось, я была больна; она так хлопотала, что на следующий день меня совсем больную отвезли в Москву. Я была дней десять-двенадцать в постели, и зубная боль начиналась у меня каждый день после обеда в один и тот же час.

В начале сентября императрица отправилась в Воскресенский монастырь, куда мы получили приказание приехать ко дню ее именин. В этот день она назначила своим камер-юнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит; я радовалась его возвышению, потому что, когда он еще был пажом, я его заметила, как человека много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке. У меня по возвращении из этой поездки сделалась острая боль в горле с сильной лихорадкой. Императрица навестила меня во время этой болезни. Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ее Императорское Величество приказала мне через Чоглокову причесать племянницу графини Румянцевой и быть у нее на свадьбе; она выходила за Александра Нарышкина, который впоследствии был обер-шенком. Чоглокова, видя, что я едва еще поправляюсь, была немного огорчена, передавая мне это приказание, которое не доставило мне удовольствия, потому что я ясно видела, как мало заботятся о моем здоровье, а может быть, и о самой жизни; я в этом духе говорила с Владиславовой, которая, казалось, как и я, была очень недовольна этим грубым и беспощадным приказанием. Я собралась с силами, и в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой я убрала голову моими брильянтами; когда это было сделано, ее повели в придворную церковь для венчания; мне же велели ехать в обществе Чоглоковой и моего двора в дом к Нарышкиным.

А мы жили в Москве во дворце на краю Немецкой слободы; чтобы попасть к Нарышкиным, надо было проехать через всю Москву и сделать по крайней мере семь верст; это было в октябре месяце, около девяти часов вечера; был трескучий мороз и такая гололедица, что можно было ехать только тихим шагом. Я провела по крайней мере два с половиной часа в дороге туда и столько же оттуда, и не было ни одного человека из моей свиты и ни одной лошади, кто бы не упал один или несколько раз. Наконец, доехав до Казанской церкви, которая возле ворот, называемых Троицкими, мы встретили другое затруднение: в этой церкви венчали в тот самый час сестру Ив[ана] Ив[ановича]

Шувалова, которую причесывала императрица в то время, как я причесывала Румянцеву, и у этих ворот скопились и спутались кареты; мы останавливались на каждом шагу, потом возобновились падения, так как ни одна лошадь не была подкована на шипы; наконец, мы прибыли, нельзя сказать, однако, чтобы в самом лучшем настроении.

Мы очень долго ждали новобрачных, с которыми случились приблизительно те же приключения, что и с нами. Великий князь сопровождал новобрачных, потом ждали еще императрицу, наконец, сели за стол; после ужина сделали несколько туров парадных танцев по комнате, потом нам велели вести новобрачных в их спальню. Для этого пришлось пройти по нескольким очень холодным коридорам, подняться по нескольким лестницам, не менее холодным, потом проходить через длинные галереи, сколоченные на скорую руку из сырых досок, по которым вода текла со всех сторон.

Наконец, дойдя до покоев, мы сели за стол, на котором было накрыто угощение; там оставались, чтобы выпить только за здоровье новобрачных, потом повели молодую в спальню и вернулись, чтобы ехать домой. На следующий день вечером пришлось туда снова поехать. Кто бы подумал, что вся эта суматоха, вместо того чтобы повредить моему здоровью, нисколько не помешала моему выздоровлению; на следующий день я лучше чувствовала себя, чем накануне.

В начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит; он больше не дрессировал своих собак, раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорченный вид, был задумчив и рассеян; он накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая – из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали. Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно недолго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом, кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет.

Наконец, однажды он мне открыл, что его мучило; я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере во время пребывания в Раеве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели; он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась; остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте. Чоглоков получил от обер-егермейстера, под предлогом развлечения великого князя, две своры: одну из русских собак и с

егерями, другую из французских или немецких собак; к этой были приставлены старый доезжачий-француз, мальчик-курляндец и один немец. Так как Чоглоков стал заправлять русской сворой, Его Императорское Высочество взял на себя иностранную свору, которой Чоглоков вовсе не интересовался; каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части, следовательно, Его Императорское Высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах, и, наконец, коли пошло начистоту, он связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними; на охоте он был всегда среди них. В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батурин, весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя, впрочем, человек очень решительный. Не знаю, по какой случайности или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры, но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского; словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно.

Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников; ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батурин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет.

Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батурина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком, и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья. Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается

охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское.

Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то, как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной компанией. Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие.

Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу, и что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего он прыгал от радости, успокоился, и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формозе, в Тихом океане.

15 декабря мы отправились из Москвы в Петербург. Мы ехали день и ночь в санях, которые были открыты. На полдороги у меня снова сделалась сильная зубная боль; несмотря на это, великий князь не соглашался закрыть сани, с трудом соглашался он, чтобы я задернула немного занавеску в кибитке, дабы защититься от холодного и сырого ветра, который дул мне в лицо. Наконец, мы приехали в Царское Село, где уже была императрица, обогнавшая нас по обыкновению в пути. Как только я вышла из саней, я пошла в комнаты, нам назначенные, и послала за лейб-медиком императрицы Бургавом, племянником знаменитого Бургава, и просила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который меня мучил уже от четырех до пяти месяцев. Он соглашался на это с трудом; но я этого хотела непременно; наконец, он послал за Гюйоном, моим хирургом. Я села на пол, Бургав – с одной стороны, Чоглоков – с другой, а Гюйон рвал мне зуб; но в ту минуту, как он его вырвал, глаза мои, нос и рот превратились в

фонтан; изо рта лила кровь, из носу и глаз – вода. Тогда Бургав, у которого было много здравого смысла, воскликнул: «Какой неловкий!» – и, велев подать себе зуб, сказал: «Вот этого-то я и боялся, и вот почему не хотел, чтобы его вырвали».

Гюйон, удаляя зуб, оторвал кусок нижней челюсти, в которой зуб сидел. Императрица подошла к дверям моей комнаты в ту минуту, как это происходило; мне сказали потом, что она растрогалась до слез.

Меня уложили в постель, я очень страдала, больше четырех недель, даже в городе, куда мы, несмотря на то, поехали на следующий день, все в открытых санях.

Я вышла из своей комнаты только в половине января 1750 году, потому что все пять пальцев г. Гюйона были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке, внизу. В первый день нового года, желая причесаться, я увидела, что мальчик-парикмахер, родом калмычонок, которого я воспитала, был очень красен и с очень отяжелевшими глазами; я спросила, что с ним; он ответил, что у него жар и очень болит голова. Я его отослала, велев ему идти лечь, потому что действительно он еле держался. Он ушел, и вечером мне доложили, что у него оспа; я отделалась страхом, что схвачу оспу, но не заразилась, хоть он мне и причесывал голову.

Императрица оставалась большую часть Масленой в Царском Селе. Петербург был почти пуст; большая часть оставшихся там лиц жили в Петербурге по обязанности, никто – по своей охоте. Все придворные, как только двор побывал в Москве и возвращался в Петербург, спешили брать отпуски на год, на шесть месяцев или хоть на несколько недель, чтобы остаться в Москве. Чиновники, например сенаторы и другие, делали то же самое и, когда боялись не получить отпуска, пускали в ход настоящие или притворные болезни мужей, жен, отцов, матерей, братьев, сестер или детей или же процессы и другие деловые и неотложные хлопоты, – словом, требовалось шесть месяцев, а иногда и более, прежде чем двор и город становились тем, чем были до отъезда двора, а в отсутствие двора петербургские улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет. При таком положении вещей в настоящую минуту нельзя было рассчитывать на большое общество, особенно для нас, которых держали все взаперти.

Чоглоков вздумал в это время доставить нам развлечение, или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем приходить ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех-пяти довольно маленьких комнат.

Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курляндскую, дочь герцога Эрнста Иоганна Бирона, прежнего фаворита императрицы Анны. Императрица Елисавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регентства принцессы Анны он был сослан; местом жительства ему назначили Ярославль, на Волге; там он и жил: с женою, двумя сыновьями и дочерью. Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и довольно мала ростом, но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге; ее отец и мать не очень ее любили; она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались.

В один прекрасный день она убежала из родительского дома и укрылась у жены ярославского воеводы, Пушкиной. Эта женщина, в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой и бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснила как следствие преследований, которые она терпела от родителей за то, что выразила желание перейти в православие.

В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры; императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин. Чоглоков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из Кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды, и держал его при себе для посылок. Принцесса Курляндская, втершаяся таким образом к нам и игравшая каждый день в триссет в течение нескольких часов с великим князем, с Чоглоковым и со мною, вела себя вначале с большою сдержанностью: она была вкрадчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно, когда она сидела; она каждому говорила то, что могло ему нравиться.

Все смотрели на нее, как на интересную сироту, к ней относились как к особе почти без всякого значения. Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным: это была своего рода иностранная принцесса и тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки. Это придавало ей прелести в его глазах; он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен; когда она обедала у себя, он посылал ей вниз и некоторые любимые блюда со своего стола, и, когда ему попадалась какая-нибудь новая гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела. Это было не единственное приобретение, которое двор сделал в Москве в лице этой Курляндской принцессы,

которой могло быть тогда от двадцати четырех до двадцати пяти лет.

Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа, его младшего брата. Старшей, Марии, могло быть около четырнадцати лет, ее сделали фрейлиной императрицы; младшая, Елисавета, имела всего одиннадцать лет; ее определили ко мне; это была очень некрасивая девочка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами.

К концу Масленой императрица вернулась в город. На первой неделе Поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.

В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему – доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров

я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.

В половине Поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться; я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею, – одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.

Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: «Что делать!», – у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать; он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь – и из-за всей этой истории, и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного.

На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе Поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал

им по комнате направо и налево и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но, как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях.

Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, что с вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью и, когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало.

В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и, когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю; Чоглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытрите щеку, на ней мазь». На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее». Тогда великий князь сказал Чоглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются, мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно». Чоглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз». Дело тем и закончилось, и великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чоглокове.

Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили; он их любил, и вдобавок они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать – значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре; итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему; я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать

устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к Пасхальной заутрене и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мною случились; не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли; я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной, все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами; мне дали лекарство; я провела первые два дня праздника в постели.

Приблизительно около того времени или немного ранее, приехали в Россию граф Берни, посол Венского двора, граф Линар, посланник датский, и генерал Арним, посланник саксонский; последний привез с собою свою жену, рожденную Гойм. Граф Берни был из Пьемонта; ему было тогда за пятьдесят; он был умен, любезен, весел и образован и такого характера, что молодые люди его предпочитали и больше развлекались с ним, нежели со своими сверстниками. Он был вообще любим и уважаем, и я тысячу раз говорила и повторяла, что если бы этот или ему подобный человек был приставлен к великому князю, то это было бы великим благом для этого, принца, который так же, как я, оказывал графу Берни привязанность и особый почет и отличие. Великий князь сам говорил, что с таким человеком возле себя стыдно было бы делать глупости. Прекрасные слова, которых и я никогда не забывала. Граф Берни имел при себе кавалером посольства графа Гамильтона, мальтийского кавалера.

Как-то раз, когда я при дворе спросила у него о здоровье посла графа Берни, который был болен, мне вздумалось сказать кавалеру Гамильтону, что я самого высокого мнения о графе Батиани, которого императрица-королева Мария-Терезия назначила тогда воспитателем двоих старших сыновей своих, эрцгерцогов Иосифа и Карла, потому что его предпочли в этой должности графу Берни. В 1780 году, когда я имела свое первое свидание с императором Иосифом II в Могилеве, Его Императорское Величество сказал мне, что ему известно это мое суждение; я ему возразила, что он знает об этом, вероятно, от графа Гамильтона, который состоял при этом государе после того, как он вернулся из России; он мне сказал тогда, что я верно отгадала и что граф Берни, которого он не знал, оставил по себе репутацию человека, более пригодного для этой должности, чем его прежний воспитатель. Граф Линар, посланник датского короля, был отправлен в Россию, чтобы вести переговоры об обмене Голштинии, принадлежавшей великому князю, на графство Ольденбург. Это был человек, соединявший в себе, как

говорили, большие знания с такими же способностями; внешностью он походил на самого настоящего фата. Он был статен, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с белым, как у женщины, цветом лица; говорят, он так холил свою кожу, что ложился спать не иначе, как намазав лицо и руки помадой, и надевал на ночь перчатки и маску. Он хвастался тем, что имел восемнадцать детей, и уверял, что всех кормилиц своих детей приводил в положение, в котором они вторично могли кормить.

Этот граф Линар, такой белый, носил датский белый орден, и у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как, например, голубого, абрикосового, сиреневого, телесного и проч., хотя в то время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета. Великий канцлер граф Бестужев и его жена принимали у себя графа Линара как родного, очень с ним носились, но это не уберегло его фатоватости от насмешек. Против него было еще одно обстоятельство, состоявшее в том, что еще довольно свежо было в памяти, как брат его был более чем хорошо принят принцессой Анной, регентство которой все осуждали. А с тех пор как этот человек приехал, он не нашел ничего более неотложного, как хвастаться возложенными на него переговорами относительно обмена Голштинии на графство Ольденбург. Великий канцлер граф Бестужев призвал к себе Пехлина, министра Голштинского герцогства при великом князе, и рассказал ему то, с чем Линар приехал.

Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою Голштинскую страну. С Москвы уже представляли Его Императорскому Высочеству о ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы. Она дала ему немного; эти деньги не дошли до Голштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги Его Императорского Высочества в России. Пехлин представлял дела в Голштинии со стороны финансов безнадежными; это Пехлину было не трудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания, так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему, медленно отчеканивая слова: «Ваше Высочество, от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны; если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо».

Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый, носил громадный парик, но он не лишен был ни знаний, ни способностей; в этой короткой и толстой фигуре жил ум тонкий и проницательный; его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое

доверие, и это был один из его ближайших доверенных. Пехлин докладывал великому князю, что слушать – не значит вести переговоры, а от ведения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти будет всегда прервать их, когда он найдет это нужным, – словом, мало-помалу, он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложения датского посланника и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя; он стал мне о них говорить. Я, которая была воспитана в старинной вражде Голштинского дома против Датского и которой всегда проповедовали, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя, сколько могла; мне, впрочем, кроме него, никто не говорил об этом ни слова, и ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности, прибавляли, по отношению к дамам. Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других; но в этом ошибались, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом.

Чем больше подвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде; часто я видела его в восхищении от того, что он приобретет; затем он испытывал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходилось потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете.

В начале весны нас перевели на житье в Летний сад, в маленький Петровский домик, где комнаты выходят прямо в сад; ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елисаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора Евреинова в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе; на эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чоглокову и сказал, что тот наговорил ему, без всякого уважения к присутствию великого князя, массу грубостей. Чоглоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам

очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня; у него было на руках все, что мне принадлежало.

Императрица приказала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным, занял его место; к этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в Летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои; одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая – на гадкий узкий дворишко.

В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника г-жу Арним поехать со мною верхом в Екатериненгоф. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично; императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти-шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов. Я спустилась, чтоб садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади.

Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая и, как уверяли наши придворные,

упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал.

Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездою Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется Чоглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена; наконец нам ее доставили в Екатериненгоф, но приключения этим еще не закончились. В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами; сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост, – это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтоб не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чоглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.

Из Летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили постоянно часть дня у Чоглоковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Ораниенбаум, где каждый Божий день бывали на охоте и иногда проводили по тринадцати часов на лошади. Лето было, однако, довольно дождливое; помню, что однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: «Как вы себя отделали; не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых». Я носила их только из шелкового камлота; от дождя они садились, от солнца – выгорали, а следовательно – мне и нужны были все новые.

В это время я придумала себе седла, на которых можно было

сидеть как угодно; они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался и другое стремя спускалось и поднималось, как угодно и смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у берейторов, как я езжу, они отвечали: «На дамском седле, согласно с волей императрицы»; они не лгали; я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут, и так как я вовсе не хваталась своей выдумкой и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей; великому князю было все равно, как я езжу; что касается берейторов, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят.

По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду; чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее, так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также всегда была с собою в кармане книга, и, если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение. Я заметила на этих охотах, что Чоглоков становится гораздо мягче, особенно со мною; это внушило мне опасение, как бы он не вздумал ухаживать за мною, что мне отнюдь не было на руку; во-первых, сама особа его нисколько мне не нравилась: он был белокурый, хлыщеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом; его все ненавидели, как жабу, и он совершенно ничем не был приятен; ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были также вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были. А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чоглокова, но таким образом, что ему никогда не приходилось жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женою, которая была мне за это благодарна и которая меня впоследствии очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу.

При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерал-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, рожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении ее на престол, когда она проявила ей редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей, недавно женился на одной из фрейлин

императрицы, Матрене Павловне Балк. Старшего его брата звали Петром, это был дурак в полном смысле слова, у него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот; при этом он был сплетник первого сорта и, как таковой, был довольно хорошо принят у Чоглоковых, которые, впрочем, считали его незначащим человеком. Я подозреваю, что это Владиславова, в качестве старинной знакомой матери этого дурака, и внушила Чоглоковым мысль женить его на принцессе Курляндской. Как бы то ни было, но он стал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено.

По возвращении нашем в город он был этим сильно рассержен и дулся на принцессу Курляндскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужества, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь от него некоторого рода влияние еще очень долгое время. Я была в восторге от этого брака и велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания, потому что Ее Императорское Величество сама назначала день, очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой. Осенью мы возвратились в город, и я имела удовольствие видеть, как принцесса Курляндская и Петр Салтыков благодарили Ее Императорское Величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но от другой ветки, чем эти, между тем как Бирон, сделанный принцем Курляндским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера одного курляндского дворянина. Этого фермера звали Бирен, но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Биронов во Франции приняла его в свой род, по уговору кардинала Флери, который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие и тщеславие Бирена, герцога Курляндского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что, кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртаг. Итак, мы

собирались провести довольно веселую и оживленную зиму.

Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить; другой – для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах; иногда допускалось и на этот бал дворянство и наиболее именитое купечество. Придворные балы не превышали числом человек полтораста-двести; на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрице вздумалось в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице; это был собственный куртаг навыворот.

Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы – в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она закончила, она подошла ко мне; я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною. Я не утаила этого от Чоглоковой, которая пересказала на ухо двум-трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали.

Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов,

сенатор и директор Кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где он оставался в отсутствие двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русские, которые тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера. В этих последних сии молодые люди так же плохо произносили слова, как играли, и так как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыграны при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях, и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с большим, нежели можно было ожидать, интересом.

Театр, который был устроен в одной из зал дворца, был перенесен во внутренние ее покои; она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров; она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями Ее Императорского Величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый восемнадцати– или двадцатилетний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный; но на нем видели и вне театра брильянтовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье.

Наконец, он вышел из Кадетского корпуса, и обер-егермейстер граф Разумовский, прежний фаворит императрицы, тотчас же взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда царедворцы стали делать заключения на свой лад и вообразили, что так как граф Разумовский взял к себе в адъютанты кадета Бекетова, то это не могло иметь другой цели, как подорвать фавор камер-юнкера Шувалова, который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьею Разумовских, и отсюда было выведено наконец заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы.

Узнали, кроме того, что Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфильевича Елагина. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы; она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто; так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины. Никто не был более заинтригован начинающимся фавором этого молодого человека, как моя фрейлина княжна

Гагарина, которая была уже немолода и искала себе партии по вкусу; у нее было свое состояние, она не была красива, но очень умна и ловка, ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, которое потом пользовалось фавором императрицы: первым был Шувалов, вторым – тот самый Бекетов, о котором только что шла речь. Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной, кроме того, у нее была многочисленная родня; родня эта обвиняла Шувалова в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие тряпки; от злости на это княжна Гагарина и все молодые хорошенькие придворные дамы на чем свет бранили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили; он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей, а они смотрели на это, как на новые оскорбления. Его всюду отталкивали и дурно принимали; все эти женщины смотрели на него, как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь.

У меня в комнате был истопник, Иван Ушаков, и ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю, почему, но другие слуги вздумали звать моего пуделя Иваном Ивановичем, по имени этого человека. Пудель этот сам по себе был забавным животным; он ходил большею частью на задних лапках, словно человек, и был необычайно взбалмошный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному, и чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался; он садился с нами за стол, ему надевали салфетку, и он очень чисто ел со своей тарелки; потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом; иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию. Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли, потому что он не злоупотреблял свободой, которой пользовался, и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы; летом мы взяли его с собою в Ораниенбаум; камергер Салтыков-младший приехал к нам с женой, и эта последняя и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные чепцы и одеяния и друг у друга его отбивали. Наконец, Салтыкова так его полюбила, что он особенно к ней привязался, и, когда она уезжала, ни пудель не хотел от нее уходить, ни она от него, и она

так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его подмышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна.

Свекровь, при виде ее с собакой, выделывавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку; услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, и через три-четыре дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины, враги Шувалова, имеют каждая по белому пуделю, с кличкой Иван Иванович, в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться. Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтыковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности это была клевета; только одну эту собаку так называли, да и то она была черная, и о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку.

Что касается Чоглоковой, не любившей Шуваловых, то она делала вид, что не обратила внимания на кличку собаки, которую она, однако, постоянно слышала, и сама не раз кормила эту собаку пирожками и смеялась над ее шалостями и фокусами. Во время последних зимних месяцев и частых придворных балов и маскарадов при дворе снова появились двое прежних моих камер-юнкеров, назначенных полковниками в армию, Александр Вильбуа и граф Захар Чернышев; так как они искренне были ко мне привязаны, то я была очень рада их видеть и сообразно с этим приняла их; они, со своей стороны, пользовались каждым случаем, когда могли дать доказательства своего искреннего расположения.

Я тогда очень любила танцы; на публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платья; наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило: раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший.

На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла, и в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам

было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса, и это сходило без всякой критики; наоборот, это нравилось императрице, но я не знаю хорошенько, почему. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе, и что всякий старался отличиться в наряде.

Портрет Екатерины II. 1760-е гг.

Помню, что как-то раз, на одном из этих публичных маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала

надеть гродетуровый белый корсаж (у меня тогда была очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжи из очень белого газу, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину; я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! как! даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.

Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы, и так как мне было очень весело, то в этот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были редкой изысканности. В таких развлечениях окончился 1750 год. Г-жа Арним танцевала не лучше, нежели, ездила верхом. Помню, как однажды, когда у меня с ней зашло дело о том, чтоб узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она; усевшись на стул, она призналась, что изнемогает, между тем как я еще танцевала.

notes

Примечания

1

Парк и дворец под Таллинном.